

Е.Р. ЯРСКАЯ-СМИРНОВА

НАРРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ В СОЦИОЛОГИИ

Ярская-Смирнова Елена Ростиславовна — доктор социологических наук, доцент кафедры социальной работы Саратовского государственного технического университета.

Адрес: 410600 Саратов, ул. Советская, д. 64/70, кв. 107; e-mail: elena@star.sstu.runnet.ru; тел. (8452) 257-728; факс: (8452) 507-740

Термин "нарратив" (в переводе с английского — "рассказ", "повествование") прочно вошел в научную лексику западных лингвистов, литературных и кинокритиков, социологов. Нарративный анализ относится к методам изучения текста. Если подойти к изучению повествовательных конструкторов, намереваясь понять говорящего субъекта со всеми имеющими смысл случайностями и нарушениями целостности, мы окажемся на методологических позициях феноменологии языка [1, с. 52-74].

Одно из определений нарратива в социологии — "разговор, специально организованный вокруг последовательных событий" [2, р.3]. Полученные данные богаты деталями и приближены к тому, как воспринимается мир самим информантом. Еще одна важная черта нарратива, отмечаемая социологами и литературоведами, заключается в том, что присутствие рассказчика очень значимо. Именно это отличает нарратив от других речевых актов [3]. В текст повествования вплетается контекст: позиция рассказчика, конкретная ситуация рассказывания, присутствие слушателя, целый комплекс социальных, исторических, политических условий. Следуя Мерло-Понти, воспользовавшемуся терминологией позднего Гуссерля, эту мысль можно выразить следующим образом: конкретное слово осуществляет "локализацию" и "темпорализацию" идеального смысла [1, с. 63]. Подход к анализу языка с точки зрения "здесь-и-теперь" отличается от каузальной модели, ничего не говорящей об отношениях с "другим" в различных типах культур. Напротив, проводя нарративный анализ, социолог во многом полагается на способность вчувствования в жизненную ситуацию "другого", собственные навыки эмпатии, приобретенные в качестве интервьюера или интерпретатора.

По поводу определения нарратива идут серьезные дискуссии. Одни авторы выбирают весьма широкое определение. Так, нарративом могут называть историю болезни в медицине, реминисценции в практике психотерапии. Но какой бы привлекательной метафорой ни казался нарратив для разнообразных форм жизнеописаний, здесь не хватает систематических методов анализа и детальной записи. Другие авторы дают весьма жесткое определение нарратива. В.Лабов [4] полагает, что все нарративы — истории о специфическом прошлом событии, у них есть общие черты. Большинство ученых соглашаются с тем, что нарратив — это дискретная единица, с четкими началом и окончанием, выделяющаяся из остального текста.

Нарративный анализ не вписывается целиком ни в одну из областей научного знания. Очевидная междисциплинарность этого метода позволяет отнести его к интерпретативному направлению социальных наук. Понимающая социология Вебера, с ее тезисом о *verstehen*, феноменология Шютца, этнометодология Гарфинкеля, символический интеракционизм Блумера задают основания метода

изучения вербальных, устных или письменно зафиксированных выражений индивидуального смысла. Эти выражения интерпретируются как окна во внутренний мир человека. Деррида развил метафору, сказав, что не существует чистого окошка во внутренний мир человека: как стекло всегда фильтрует наше восприятие, так и язык, и знаки, и процесс означивания во всех его формах, будучи текучим, нестабильным, построенным на следах других знаков и символических высказываний, затрудняет однозначное толкование наблюдаемых явлений, интенций или смыслов. В гуманитарных науках метод деконструкции распространился чрезвычайно широко в 1980-е годы благодаря литературной критике, где текстуальному объективизму пришлось вскоре сдать свои позиции [5].

Итак, междисциплинарное исследование, каковым всегда является нарративный анализ, репрезентирует "интерпретивный поворот", произошедший в социальных науках. Этот поворот связан с признанием недостаточности естественнонаучных методов и теоретических посылок для понимания социальной жизни. Например, нарратология как теория повествования в литературоведении оформилась в конце 1960-х годов в результате пересмотра структуралистской доктрины с позиций коммуникативных представлений о природе и модусе существования искусства [6, с. 74, 75]. Традиция философской герменевтики стимулировала множество продуктивных направлений социальной мысли.

Немалую роль в осуществлении этого методологического сдвига сыграла социальная антропология Марселя Мосса, привнесшего интерес к "другому" через идею тотального обмена, чего, по словам Мерло-Понти, не хватало социологии: "Социология, поспешно подчиняя реальность нашим идеям или, напротив, объявляя ее недоступной им, всегда вела себя так, как если бы она могла наблюдать свой объект извне, а социолог выступал в роли абсолютного наблюдателя. Никакой речи не было о том, чтобы социология настойчиво проникала в свой объект, вступала с ним в коммуникацию. Марсель Мосс, напротив, инстинктивно осуществлял все это" [1, с. 85, 86].

В 1970-1980-х годах группа ведущих американских ученых (Брунер, Кроной, Розальдо, Сарбин, Шейфер) обратилась к изучению нарратива как организующего принципа человеческой жизни. С 1969 года применяется термин "нарратология". Во многом такой акцент был сделан благодаря развитию социальной мысли в Европе (работы Бахтина, Барта, Рикера). Анализ диалогических отношений *Я-Другой* в словесном творчестве был проведен Бахтиным гораздо раньше, в 1920-х годах, однако некоторые его труды были опубликованы лишь полвека спустя.

География исследований, применяющих методологию нарративного анализа, обширна; этот метод на Западе широко распространен в исследованиях по истории, антропологии и фольклору, психологии, социологии, социолингвистике. Хотя нарративный анализ достаточно "молодой" метод социологии, качественные методы, включая интервью, уже давно вошли в арсенал исследователей разных стран. Примером может служить книга С.Тайлора и Р.Богдана "Введение в качественные методы исследований" [7], впервые опубликованная еще в 1949 году и ставшая популярным учебником для студентов факультетов социальных наук в большинстве стран мира. В отечественной науке его можно встретить в публикациях социологов, психологов, искусствоведов. Трудно не согласиться с В.Б.Голофастом, который связывает

возросшее внимание к биографиям обычных людей (или генеалогиям обычных семей) с изменением перспектив социологии: "Социальная наука в последние десятилетия натолкнулась на преграды: сложившиеся модели человека и социальных систем перестали удовлетворять исследователей. И это верно как для микро-, так и для макроуровней и, тем более, способов их соединения в теории" [8, с. 88].

Сегодня уже ясно, что социальные институты развиваются и изменяются при участии людей, а люди включены в отношения обмена, что касается и отношений социолог-респондент. Как настаивает Мерло-Понти, с помощью мышления надо проникнуть в данный феномен, прочесть или расшифровать его. Прочтение же состоит в том, чтобы постичь мир обмена, осуществляемого между людьми при посредничестве определенного институционального образования, в котором, возможно, антропологи узнают институт *mana*¹, устанавливающий зависимости и равнозначности, *mana* как опыт определенного несовпадения с самим собой и с другими людьми [1, с. 86]. Это "требование неосязаемой тотальности" как задействованности во всепроникающей системе услуг, или обмене, — необходимое условие методологии нарративного анализа.

История, информация, текст

История, рассказанная информантом, — далеко не новая идея качественной социологии, особенно той, что развивалась в рамках научной традиции Чикагской школы в 1930-1940 годах. Классические персонажи тех исследований — рассказчики о городской жизни — были мужчинами; женщины совершенно невидимы в "этнографиях" того периода. Чем же отличается нарративный анализ от классических этнографических описаний и современных подходов к текстуальному анализу?

Традиционно к "этнографиям", в которые включаются и рассказы от первого лица, относили реалистические описания, отличные от других научных описаний лишь своим форматом. В основном внимание исследователя здесь было направлено на события, о которых идет речь в историях информантов. Язык представляется как посредник, недвусмысленно передающий неизменные и единственные значения. Рассказы информантов функционируют как иллюстрации к репрезентации социального мира аналитиком. Такое отношение можно классифицировать как субъект-объектное: оно возникает, например, когда исследователь консультируется у респондентов относительно истории, норм и динамики социокультурных изменений их сообщества.

В другом направлении качественной социологии нарративы рассматриваются как социальная практика, возникающая внутри и вследствие социального поля исследования, а информанты — как субъекты, чьи нарративы отражают, интерпретируют и конституируют социальную реальность в форме подлинной репрезентации [9, p.204]. Вопрос истины, содержащейся в нарративах, становится предметом научной дискуссии. Ученые, работающие с нарративным анализом, по-разному подходят к вопросу об истине: одни утверждают, что язык репрезентирует реальность (нарративная последовательность воспроизводит произошедшие в жизни события в том же порядке); другие полагают, что нарратив составляет, конституирует действительность (рассказывая, мы

¹ *Mana* — талисман, играющий важную роль в ритуалах обмена, связан с властью, престижем.

выделяем реальные явления из потока сознания). Третьи утверждают, что рассказчики приукрашивают историю, чтобы быть более убедительными, привнося свои интересы и ценности.

Проиллюстрировать эти точки зрения можно на примере исследований, в фокусе которых — проблемы семей с разными типами хронических заболеваний (или инвалидности, как в одном из наших исследований) у детей. Авторы отмечают общее в содержании материнских рассказов, несмотря на различные диагнозы. Исследователи показывают, что первые столкновения с медицинским персоналом часто вызывают психологические травмы у родителей, оказывая разрушающее воздействие на их последующие отношения с медиками.

Нарратив рассматривается здесь как объяснение, опосредованное ситуацией интервью. При этом, говорят одни интерпретаторы, объяснение нацелено на демонстрацию статуса морально адекватного родительства посредством рассказывания "ужасной истории" [10]. Иными словами, конструирование "ужасной истории" представляется некоторыми авторами эффективным способом продемонстрировать женщинам моральную ответственность в соответствии с культурно-заданными стереотипами. Подобная позиция ученых сравнима с тем, что респондент как бы подозревается во лжи. Здесь можно привести аналогию с понятием обедняющей теории (Бахтин), где "субъект-участник события становится субъектом безучастного, чисто теоретического познания события" [11, с. 79]. Такая эпистемологическая позиция объясняется тем, что развитие западной философии было сопряжено с зависимостью сознания ученых от бинарных понятийных систем (природа-культура, мужское-женское, рационализм-иррационализм), сущность которых сводилась к одному противопоставлению "наш-не наш", эквивалентному по смыслу понятийной паре "хорошее-дурное". Благодаря этому, говорит Деррида, одно из понятий определялось как привилегированное по сравнению с его бинарной противоположностью, а иерархия значений становилась, таким образом, социально институционализированной. Однако идея деконструкции состоит в обнаружении амбивалентности всех текстов, что может быть сделано лишь во взаимосвязи с другими текстами, а не в связи с буквальным значением или нормативно принятой истиной.

Тот факт, что всегда можно рассказать об одних и тех же событиях совершенно по-разному, в зависимости от ценностных приоритетов рассказчика, не вызывает сомнений. Что касается рассказа о сложных и беспокоящих событиях, нужно помнить: прошлое — всегда селективная, избирательная реконструкция. Люди исключают из своих рассказов опыт, угрожающий их сегодняшней, утверждаемой ими идентичности. Однако для других ученых (такова и наша позиция) установление исторической истинности индивидуального объяснения не является главной задачей. Рассказы женщин, очевидно, не просто отчеты о том, что произошло. Если матери конструируют свои нарративы так, что показывают в них себя в качестве единственного источника заботы о ребенке-инвалиде, то мы имеем дело с частичной опосредованностью их рассказов ситуацией интервью: они хотят, чтобы другие воспринимали их именно таким образом.

Из работ И.Гоффмана известно, что каждый социальный актер желает убедить себя и других, что он (или она) — хороший человек, то есть нарратив означает представление себя (self-presentation). Однако здесь происходит не только самописание

субъекта. Нарратив понимается как "смысл преднарративного опыта", акты рассказывания о себе являются фундаментальными для возникновения и реальности существования этого субъекта" [12, р. 3, 4, 84]. Например, в исследовании матерей, дети которых имеют инвалидность, нарративы женщин рассматриваются как часть их жизни, которая конструируется ими в процессе рассказа о себе. При этом важно, что, хотя способы конструирования идентичности женщин в интервью различны, все они основаны на процедуре исключения [13].

С этой позиции язык понимается не как инструмент для передачи истины. Истина, по Мерло-Понти, — другое название того, что само по себе есть присутствие в нашем присутствии всех других присутствий [1, с.63]. Истории информантов не просто отражают внешний мир. Они конструируемы, творчески созданы, наполнены предположениями и интерпретивны. Когда рассказанная история понимается как текст, исследователь подходит к языку с точки зрения способа и условий конструирования смысла, то есть анализируя контекст мотивов [5, р. 17]. Эта позиция хорошо сформулирована объединением авторов, называющих себя "Personal Narratives Group": "Рассказывая свои жизни, люди порой лгут, многое забывают, преувеличивают, путаются и неверно истолковывают многие вещи. Однако они все равно открывают, обнаруживают истины. Эти истины не показывают прошлое так, "как оно на самом деле было", стремясь к идеалу объективности. Вместо этого они представляют истину опыта. По сравнению с истиной научного идеала, истины личных нарративов не открыты доказательству и не самоочевидны. Мы можем понять их, только интерпретируя, уделяя пристальное внимание контекстам, в которых они сформировались, и мировоззрениям, которые повлияли на них. Иногда истины, которые мы видим в личных нарративах, вытаскивают нас из нашей благодушной безопасности интерпретаторов извне" истории, напоминая о том, что наше собственное место в мире играет роль в нашей интерпретации и оформляет смыслы, которые мы извлекаем из этих истин" [14, р. 261].

Чтобы понять человека, его внешний и внутренний мир, приблизиться к адекватному пониманию смыслов, которые он вкладывает в различные суждения и действия, ученый прилагает немало усилий, стремясь расшифровать внешне наблюдаемые действия и высказывания респондента. Одно из первых усилий интерпретатора — суметь "расстаться с претензией на непосредственное понимание" [15, с.391]. Изучение реальных людей, имеющих реальный жизненный опыт в реальном мире, происходит в нарративном анализе при помощи истолкования смысла, которым люди наделяют переживаемые события. Истолкование, говорит Хайдеггер, это и есть формирование понимания" [16, с.9].

Рассказчик в беседе как бы переносит слушателя в прошлые времена, воспроизводя то, что произошло, таким образом, чтобы сделать вывод, как правило, нравственного содержания. Но рассказывание истории одновременно относится и к тому, что мы делаем с нашими исследовательскими материалами, и что информанты делают с нами. Механическая метафора, заимствованная из естественных наук, означает, что мы даем объективное описание сил, действующих в мире, для этого мы помещаем себя вовне. Метафора повествования, или рассказанной истории, означает то, что мы создаем порядок, конструируем тексты в конкретных контекстах. Получается, что в нарративном анализе объектом исследования служит сама рассказанная история, повествование.

Ограничим нашу дискуссию таким видом нарратива, как рассказы респондентов об их жизненном опыте от первого лица, оставив в стороне другие типы повествований (например, описания того, что случилось в ситуации полевого исследования, и остальные нарративы исследователя, в том числе теоретические труды ученых). Тогда задачей является рассмотрение того, как респонденты в интервью упорядочивают опыт, чтобы придать смысл событиям и поступкам своей жизни. При методологическом подходе исследуются история информанта, как она была составлена, лингвистические и культурные ресурсы, на которых она строится, каким образом убеждает слушателя в подлинности. Нарративный анализ открывает формы рассуждения об опыте, а не просто содержание. Мы спрашиваем: почему история была рассказана именно так?

Интерпретация неизбежна, поскольку нарративы представляют собой репрезентации. В постпозитивистских исследованиях нет четкого различия между фактом и интерпретацией. Субъектность и воображение определяют, что включать, а что исключать из процесса наррации, в какой последовательности говорить о событиях, что они должны означать. Люди конструируют прошедшие события и действия в личных нарративах, чтобы утверждать идентичности и конструировать жизнь. Нарративы — не просто набор фактов или объем информации. Они структурируют опыт восприятия, организуют память, сегментируют и целенаправленно строят каждое событие в жизни. В автобиографических конструкциях частная, интимная информация переплетается с более широким контекстом жизненного опыта.

Нарративы от первого лица представляют собой эмпирический материал. Сбор этого материала, необходимого для анализа, несложен. Нарративами пронизана вся наша повседневная жизнь. Представьте, например, разговор в обеденный перерыв, где одна женщина подробно, с мельчайшими деталями рассказывает другой о том, что "она сказала", что "он сказал", что случилось после, воспроизводя все нюансы момента, который имеет для нее какое-то особое значение. Психотерапевты каждый день сталкиваются с нарративами личного опыта и используют их, чтобы изменить жизнь пациента путем ее пересказывания и конструирования нового, более удовлетворительного опыта. Рассказывание историй о прошедших случаях — это, наверное, универсальный вид человеческой деятельности, одна из первых форм дискурса, о которой мы узнаем еще в детстве и которой пользуемся затем на протяжении всего жизненного пути, будучи представителями самых разных культур.

Нарративный анализ применяется, в частности, при исследовании биографий. Объект биографического метода — жизненный опыт субъекта. Повествовательные конструкты, подвергаемые анализу в этом случае, могут включать жизненные истории нескольких видов. Так, написанный от первого лица рассказ называется автобиографией, жизненной историей или историей жизни. Рассказ, написанный лицом, наблюдавшим чью-либо жизнь, называется биографией. Среди структурных черт, важных для исследования биографического нарратива, Н.Дензин отмечает следующие: 1) существование, как бы незримое присутствие "других", 2) влияние пола и социального класса, 3) упоминание семейного прошлого, 4) наличие точки отсчета, 5) предположение о существовании автора или наблюдателя, хорошо знакомого с описываемым жизненным опытом, 6) объективные жизненные маркеры (например, "смерть отца", "настоящие матери", "эгоизм мачехи"), 7) предположение, что речь идет о реальных людях и

реальных событиях их жизни, 8) упоминание поворотных событий, 9) акцент на различии правдивых утверждений от ложных [17, p. 17]. К системе понятий, употребляемых в этой традиции, Дензин относит следующие: метод, жизнь, "Я" (самость)², опыт, епифания², случай, автобиография, этнография, автоэтнография, биография, рассказ (story), дискурс, нарратив, рассказчик (нарратор), вымысел, история, личная история, устная история, история случая (case history), изучение случая (case study), описание (письменное свидетельство), difference, история жизни (life history), рассказ о жизни (life story), рассказ о себе, рассказ о личном опыте [17, p. 47-48].

В неформализованных интервью не весь собранный материал представляет собой нарратив, поскольку включает также обмен вопросами и ответами, доказательства и другие формы дискурса. Респонденты в исследовательском интервью (если их не прерывать стандартизированными вопросами) будут говорить подолгу, порой организуя ответы в длинные истории. При традиционных подходах качественного анализа эти тексты часто обрабатывают в угоду интерпретации и генерализации, выбирают фрагменты ответов, выдергивая их из контекста, удаляют структурные черты, тем самым подавляя нарратив [2]. Но ведь интерес представляет именно то, как сами респонденты упорядочивают отдельные моменты личного опыта, зачастую те, в которых произошел некий перелом, расторжение идеального и реального, "Я" и общества. Так, в исследовании К.Рисман [18] респонденты приводили длинные истории о своих браках, чтобы объяснить разводы. Люди, сталкивающиеся с биографическими разрывами в связи с хроническим заболеванием, реконструируют связанное, последовательное "Я" в нарративах. Включение, воплощение собственной личности в истории может происходить там, где личность раздроблена: скажем, в момент медицинского обследования.

То, что респонденты конструируют нарративы, чаще рассказывая о таких конкретных событиях своей жизни, где был разрыв между реальным и идеальным, между "Я" рассказчика и обществом, отмечается многими авторами. Желание рассказывать, по мнению Бургос, проявляется в большинстве случаев как отказ от нормы. Этот отказ рассказчик переживает как первый опыт бытия, отличный от других. В опыте отрицания или "пограничного состояния" человек постепенно осознает себя. Мир больше не воспринимается как естественная среда, с которой человек составляет одно целое, но становится препятствием желанию слиться с нею" [19, с. 128].

Все это, конечно, отнюдь не облегчает задач исследователя нарративов, в числе которых выявление предпосылок рассказчика, на которые он (или она) ориентируются, имея в виду реального или потенциального читателя, адресата текста или собеседника, и учет символического присутствия третьих лиц, оказывающих влияние на автора истории. Эти последние можно понимать либо как индивидуальные субъекты, значимые другие, либо как социальные институты. В связи с этим В.М.Голофаст отсылает нас к проблеме цензуры, к влиянию "социальной оглядки в целом, включая свойства самого автора: самооглядку, привычный уровень морального самоконтроля, критическое или некритическое самосознание, нравственность поведения в одиночестве, в реальном или потенциальном социальном окружении" [8, с.76].

Драматизм понятий таким образом отношений

² *Епифания* — откровение, поворотный момент в жизни.

индивидуальности и культуры достаточно подробно обсуждался в психоанализе и социологии. Говоря словами Бергера, человеческое достоинство — это вопрос социального позволения: ведь каждый раз, когда осуществляется сколько-нибудь значительное пересечение индивидуальных и социальных полюсов человеческой жизни, человек как бы пристально смотрит на себя в зеркало, пока не забудет, что у него вообще-то совсем другое лицо.

Такое отношение между обществом и идентичностью может быть обнаружено там, где по той или иной причине индивидуальная идентичность сильно изменяется. Трансформация идентичности так же, как ее генезис и поддержание, есть социальный процесс, и то, что антропологи называют ритуалом перехода, включает аннулирование прежней идентичности (например, ребенка) и инициацию в новую идентичность (взрослого) [2, р. 121]. Рассказывание историй можно интерпретировать как более мягкий ритуал перехода, и кажущаяся обыденность "наивных", повседневных повествований на самом деле погружена в контекст легитимных, даже сакральных ценностей.

Итак, нарратив — такая форма повествования, которая никогда не теряет из вида два реально существующих полюса человеческой жизни: индивидуальный и социальный. Истории жизни выражают, во-первых, фазу необходимого отделения субъекта от группы и, во-вторых, фазу его добровольного, контролируемого возвращения в группу. Тогда главной целью истории жизни является не формирование обособленной личности, а осуществление связи между этими двумя полюсами [19, с. 124, 125]. События, описываемые рассказчиком, — этапы жизненного опыта, посредством которых субъект развивает в себе диалектику тождества и различия, исключения и включения, близости и отдаленности.

Circulus vitiosus? Репрезентация и истолкование

Исследователь имеет дело с двусмысленными репрезентациями опыта других — разговором, текстом, интеракцией и интерпретацией. Возможно ли при этом быть нейтральным и объективным, просто воспроизводить мир, не интерпретируя? Не является ли репрезентация порочным кругом, по которому движется исследователь в поисках смысла?

Прежде всего, и на это указывал еще Вебер, здесь вообще не идет речь о каком-либо объективно правильном" или метафизически постигнутом истинном смысле: ведь то, что считает важным и значимым один человек, может быть совершенно чуждо другому.

"Высочайшие "цели" и "ценности", на которые, как показывает опыт, может быть ориентировано поведение человека, мы часто полностью понять *не* можем, хотя в ряде случаев способны постигнуть его интеллектуально; чем больше эти ценности отличаются от наших собственных, важнейших для нас ценностей, тем труднее нам понять их в сопереживании посредством *вчувствования*, силою воображения. В зависимости от обстоятельств нам в ряде случаев приходится либо удовлетворяться чисто интеллектуальным истолкованием указанных ценностей, либо, если и это оказывается невозможным, просто принять их как данность и попытаться по возможности понять мотивированное ими поведение посредством интеллектуальной интерпретации или приближенного сопереживания (с помощью *вчувствования*) его общей направленности" [20, с. 603-605].

Интерпретируя выражение, мы вроде бы приближаемся к его смыслу, но смысл "нависает линией горизонта над формой выражения и, подобно горизонту, постоянно ускользает от нас,

когда мы стремимся его достичь" [21, с. 25, 26]. Рассуждение о неуловимости смысла играет весьма позитивную роль, заставляя усомниться в универсальности, неколебимости какой-то одной истины и локализуя познавательную активность в пограничном пространстве. Горизонт, или рубеж формы выражения (вспомним гадамерово *fusion of horizons* — слияние горизонтов) всегда хранит следы ускользающего смысла; там, на границе соединяются территории разных субъектов, каждый из которых по-своему рисует карту мира. Именно здесь, по Бахтину, и появляется текст.

Событие жизни текста, то есть его подлинная сущность, как говорит Бахтин, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов, а гуманитарная мысль рождается как мысль о чужих мыслях, волеизъявлениях, манифестациях, выражениях, знаках, за которыми стоят проявляющие себя боги (откровение) или люди (законы властителей, заповеди предков, безымянные изречения и загадки). С этой точки зрения объяснение и понимание отличаются: при *объяснении* — только одно сознание, один субъект; при *понимании* — два сознания, два субъекта. К объекту не может быть диалогического отношения, поэтому объяснение лишено диалогических моментов (кроме формально-риторического), тогда как понимание всегда в какой-то мере диалогично [11, с.281,282, 289,290]. Итак, процесс интерпретации (истолкования) ближе по сути своей к пониманию в том случае, когда нарратив рассматривается не как монолог, а диалогическое, даже полифоничное произведение.

Здесь представляется важным упомянуть точку зрения Р.Барта [22] на отношения "Я-Другой" " как "потерю себя", в отличие от Бахтина, у которого они формосозидающие [11]. На первый взгляд, точка зрения Барта близка к позиции Бахтина. У обоих субъективное переживание себя определяется позицией собственного тела в мире и очень ограниченной перспективой этого тела, которая имеется у субъекта. В процессе идентификации, или создания "Я", другой имеет огромную власть над субъектом благодаря способности репрезентировать тело субъекта. Однако в соответствии с версией Бахтина, отношение зависимости субъекта от другого — любящее и желанное, тогда как у Барта данная зависимость причиняет боль, даже умерщвляет: субъект не может видеть себя иначе, кроме как в образе. Репрезентируя свое тело, субъект вынужден ограничиваться репертуаром телесных имиджей, созданных другим.

В отношении нарративного анализа эти точки зрения представляют диалектику репрезентации, которая кому-то может показаться порочным кругом: ведь каждый акт интерпретации опыта, будь то рассказывание, написание, анализ или прочтение, с одной стороны, конституирует этот опыт, придавая ему смысл, а с другой — урезывает, редуцирует, искажает, изменяет. Не менее характерно это и для формы интерпретации, которая называется научным познанием, "тем более что предполагаемое данным уразумение к тому же движется в кругу самого обычного знания мира и людей" [16, с. 14]. Однако, как говорит Хайдеггер, "видеть в таком кругу "порочность" и усиленно отыскивать пути, на каких можно избежать его, и даже просто "ощущать" его как неизбежное несовершенство, значит не понимать понимания в самой его основе... Самое главное — не в том, чтобы выйти за пределы круга, а в том, чтобы правильно войти в него. ... "Круг" в понимании принадлежит структуре смысла, каковой феномен укоренен в экзистенциальной устроенности здесьбытия, в истолковывающем понимании" [16, с. 14,15].

Уровни интерпретации

- чтение (5)
- анализ (4)
- фиксирование (запись) (3)
- рассказывание (2)
- участие (1)

Философствование необходимо социологу, когда тот "берет на себя задачу не только констатировать факты, но и понимать их. Интерпретируя их, он уже становится философом" [1, с. 69]. Рассмотрим уровни интерпретации, возникающие в нарративном анализе. Хотя и с риском чрезмерного упрощения представим, опираясь на рассуждение К.Рисман [5, р.8-22], что здесь существуют как минимум пять уровней.

Мир, который "уже там", — стартовая точка феноменологии (Мерло-Понти) — неотчуждаемое присутствие. Мир уже там, до того, как начинается рефлексия. Встреча с предлингвистической областью опыта — образы, игры цвета и света, звуки, шумы, доносящиеся запахи, наплывающие ощущения. Нет различия между моими телесными восприятиями и объектами. Как все социальные акторы, я переживаю этот мир со своих "естественных аттитюдов", принимаю как должное, не размышляю о нем и не анализирую его...

На первом уровне я — непосредственный участник опыта — рефлексирую, вспоминаю, накапливаю отдельные факты в наблюдениях. Отбираю определенные образы, при этом наделяю смыслом определенные явления, воплощая первый уровень репрезентации. Выбор уже присутствует в том, что именно я отмечаю из всего неотрефлексированного, первичного опыта. При этом, возможно, истина услышанного и увиденного будет доминировать над тем, что дается осязанием и обонянием. Тендерные аспекты, например, обращают на себя мое внимание из-за моих теоретических интересов. Я активно конструирую реальность новыми способами на первом уровне репрезентации, каким для меня является размышление.

Следующий уровень — рассказывание от первого лица. Я репрезентирую события, уже упорядоченные до определенной степени, своим слушателям, со всеми возможностями и ограничениями дискурса, принятого в таком случае. Хотя событие состоялось несколько недель назад и в другом месте, я переношу его в настоящее, или себя в прошлое, проигрывая его заново в акте разговора. Мой рассказ принимает форму нарратива о том, что произошло. Описываю место, персонажей, организуя историю так, что становится ясной моя интерпретация событий. Друзья слушают, спрашивают, побуждают меня говорить больше о тех или иных моментах моего путешествия. Рассказывая и слушая, мы вместе создаем нарратив.

Смысл изменяется, поскольку конструируется уже в процессе интеракции. История рассказывается конкретным людям и может принять совершенно другой оборот, если слушатели будут другие. В этом случае я репрезентирую опыт уже не нейтрально, а в ситуации общения с подругой, коллегой, теми, кто что-то значат для меня. Рассказывая о своем опыте, одновременно создаю особый образ "Я", поскольку хочу, чтобы именно так меня видели знакомые. Как и все социальные акторы, стремлюсь к тому, чтобы убедить остальных в моих позитивных качествах. Мой нарратив неизбежно становится

саморепрезентацией.

Какой бы способ записи ни применялся, необходимо представить разговор в виде текста, "зафиксировать действие", по Рикеру, в письменной речи. Запись, третий уровень репрезентации, которая, как и на предыдущих уровнях, является неполной, частичной и селективной. Перевод разговорного языка в письменную речь воспринимается как очень серьезная задача, поскольку никто не убежден в "прозрачности" языка. Исследователи спорят, насколько детальной должна быть запись, "расшифровка". Как, например, лучше всего передать темп и ритм рассказа? Следует ли включать в расшифровку паузы, ошибки, ударения и акценты, междометия типа "хм", дискурсивные маркеры наподобие "знаете", "понимаете" или "так", "вот", наполняющие речь, а также другие знаки присутствия слушателя в нарративе? Следует ли располагать предложения на отдельных строках, проявлять ритмические и поэтические структуры языка, группируя строки? Это не просто вопросы технического характера: от выбора той или иной тактики записи в очень большой степени будет зависеть то, как читатель поймет нарратив.

В принципе не существует никакой истинной репрезентации разговорного языка: "услышанность как таковая является уже диалогическим отношением" [11, с. 306]. По аналогии с расшифровкой разговорной речи, фотография, как ожидается, "изображает" реальность". Однако развитие технологий изготовления линз, пленки, фотобумаги и самого процесса печати привело к тому, что существует неисчислимое многообразие способов изображения одного и того же объекта. Форма репрезентации отражает взгляды художника — ценностные представления о том, что считать важным. Фотографы, как и исследователи, фиксируют сущность объекта. Отнимая у зрителя (читателя) часть информации, они парадоксальным образом дают нам возможность достроить эту информацию самостоятельно [5].

Запись (так же, как фотографирование реальности) есть интерпретативная практика. Решения о том, что записывать, так же как и решения о том, что говорить и что слушать, основываются на теоретических предпосылках, причем теория здесь понимается не только в смысле академического конструкта. В феноменологии, как и в пост-неклассической традиции, теория есть знание, обнаруживаемое в обычном размышлении людей в их повседневной жизни. Располагая текст определенным образом, мы представляем основу нашим аргументам, подобно фотографу, который управляет взглядом зрителя, выбирая тип линзы и фокусируясь на определенном имидже.

Четвертый уровень репрезентации начинается, как только исследователь приступает к анализу расшифровок. Критическим моментом является поиск сходных фрагментов, неких оснований, которые можно объединить, суммировать. Аналитик листает страницы с расшифровками интервью, пытается найти им место в будущей книге, придать ей смысл и драматическое напряжение. Принимаются решения относительно формы, порядка, стиля подачи интервью. Ожидаемая реакция аудитории на всю работу (книгу, статью), несомненно, придает форму и задает условия того, что включить в текст, а что исключить из него. В конце концов ученый создает метаисторию, поскольку истолковывает смысл того или иного нарратива, редактируя и переформулируя в комментариях то, что было сказано в интервью, превращая первоначальный документ в некий гибрид. Вновь в текст вторгаются ценности исследователя, политические убеждения и теории. И хотя последнее можно рассматривать как предательство — ведь история рождается вновь,

но уже рассказанная на чужом языке, — это тоже необходимо и продуктивно: каким бы талантливым ни был рассказчик, его история, прозвучавшая в обыденном разговоре, определенно не превратится сразу в готовую книгу, статью или диссертацию.

Устная история о личном опыте становится чем-то другим, и вновь оказывается актуальной сформированная Бахтиным проблема границ текста: текста как высказывания, в том числе исследовательского (чужого) и обрамляющего (комментирующего, оценивающего, возражающего) [11].

Пятый уровень репрезентации осуществляется, когда написанный текст попадает к читателю. Возможно, более ранние наброски циркулировали между коллегами, чьи замечания были учтены; возможно, опубликованная работа была передана упоминаемым в ней людям, которым не понравится то, как их описали, или которые останутся довольны. В любом случае перевод, переписывание первоначального рассказа и анализ того, что он значит, обязательно попадет в руки читателей, привносящих свои собственные смыслы, вопросы и сомнения в прочтение этого текста.

По образному выражению М.Ямпольского, читатель как бы "вписывает в свое тело текст как лабиринт собственной памяти. Память текстов вписывается в опыт читательского тела как диаграмма" [23, с. 306].

С одной стороны, все, что на данный момент есть у читателя — это репрезентация, сделанная аналитиком. С другой стороны, каждый текст является многоголосым, открытым для нескольких прочтений и реконструкций. Как говорит Бахтин, "каждое большое и творческое словесное целое есть очень сложная и многопланная система отношений. При творческом отношении к языку безголосых, ничьих слов нет. В каждом слове — голоса иногда бесконечно далекие, безымянные, почти неуловимые, и голоса близко, одновременно звучащие" [11, с. 303]. Даже у одного и того же читателя работа может вы звать совершенно разные прочтения в различных исторических контекстах. Написанные тексты созданы в пику одним и в поддержку других традиций и аудиторий, и эти контексты могут, в свою очередь, учитываться читателем.

Смысл текста всегда уникален для каждого конкретного человека, а те истины, которые мы конструируем, являются осмысленными в специфических социальных средах и в ограниченных исторических условиях. И хотя традиционная социальная наука не раз объявляла о своей способности репрезентировать опыт народов и культур, сегодня вряд ли стоит утверждать, что мы можем окончательно и с полной уверенностью выступать от имени других. Любое открытие в области культуры, психологии или социологии имеет значение на некотором историческом отрезке для субъектов, находящихся во властных отношениях. Претензия на универсальную истину научной репрезентации лишь маскирует тотальную волю к власти, стремление сформировать, подчинить субъекта тирании господствующего дискурса. В герменевтическом круге истолкования, напротив, неперемненное условие — постоянно совершающееся событие, происходящее с субъектами, которое так или иначе и становится предметом размышления нарратолога.

Структура нарратива

Со времен Аристотеля ученые согласны с тем, что секвенция, то есть последовательность, упорядоченность, — необходимый или даже достаточный признак повествования. Некоторые авторы

утверждают, что история следует *хронологической секвенции*: порядок событий движется линейно во времени, порядок не может быть изменен без изменений последовательности событий в оригинальной семантической интерпретации. Представление о стреле времени повлияло на подход В.Лабова, и нарратив, в соответствии с этим определением, всегда отвечает на вопрос: "А что случилось потом?" Другие авторы (например, К.Юнг) ратуют за *секвенцию последствий*: одно событие влечет другое в нарративе, хотя связи не всегда могут быть хронологическими. Третьи (например, К.Рисман) утверждают *тематическую секвенцию*: эпизодический нарратив связан воедино темой, а не временем [18].

В беседе рассказчики иногда сообщают слушателям о начале и завершении своей истории, употребляя особые слова, "давным-давно", "как-то раз", "и с той поры они жили счастливо много лет" — классические примеры таких отметок "входа" и "выхода", благодаря которым история как бы заключается в скобки. Однако порой рассказы, представленные в исследовательском интервью, не так четко выделяются, и обнаружение границ истории становится сложным интерпретивным процессом: ведь от того, когда рассказчик начинает и заканчивает нарратив, будет зависеть форма и смысл повествования. Само же решение рассказчика отражает, в какой мере он сам, слушатель или интерпретатор являются частью текста.

Не все нарративы, записанные в интервью, представляют собой истории в лингвистическом смысле. Когда, например, мы слышим историю, то ожидаем упоминание о главном герое, побуждающие условия и кульминационные события. Но не все нарративы (как и не всякая жизнь) принимают эту форму. Некоторые жанры включают обыденные нарративы (когда события происходят снова и снова и в действии нет кульминации), гипотетические нарративы (описываются события, которые не произошли), нарративы, сосредоточенные вокруг темы (зарисовки прошедших событий, связанных между собой тематически). Нарративные жанры с их разнообразными стилями и структурами представляют собой способы репрезентации, выбираемые рассказчиками (в согласии с ожиданиями слушателя, конечно), точно также, как режиссер фильма решает (на основании своих предпочтений и ситуации на рынке), какую форму примет сценарий и каким образом будут представлены персонажи и действие [5]. Тот или иной жанр заставляет нас по-разному относиться к ситуации, поскольку передает нам точку зрения рассказчика.

Структурный подход В.Лабова [4] является парадигмой для большинства исследователей. Нарративы, согласно этой версии, обладают формальными свойствами, каждое из которых функционально. "Полный" нарратив включает шесть общих элементов: тезисы (краткое изложение существа дела), ориентацию (время, место, ситуация, участники), комплекс действий (последовательность событий), оценку (значимость и смысл действия), отношение рассказчика к этому действию), резолюцию (что случилось в конце концов) и коду (возврат к настоящему времени).

Определение того, где начинается и заканчивается нарратив, какова роль слушателя (или вопросов) в его создании, — задача текстуального анализа. Вслушиваясь в речевые отметки начала и конца повествования, можно определить относительно простые нарративы. Например, о начале повествования сигнализирует фраза "я могу показать это на примере", а в конце нарратива респондент может сказать что-то вроде "это классический пример всех наших

отношений". Как только границы нарративного сегмента выбраны, можно переписать нарратив, пронумеровав строки (схема 2).

Попробуем применить подход Лабова и посмотрим, как организованы простые нарративы, и тем самым осуществим первый шаг к их интерпретации. Возьмем в качестве материала текст одного из наших интервью, изменив имя ребенка для соблюдения конфиденциальности. Как уже упоминалось, согласно этому подходу полные истории имеют определенный набор компонент, чьи функции — представить тезисы последующего текста (Т), ориентировать слушателя (ОС), подать комплексное действие (КД), оценить его значение (О) и показать разрешение ситуации (Р).

Схема 2.

Транскрипция нарратива

1. И.: На какие деньги вы живете?
2. Р.: На митину пенсию.
3. И.: Наверное, трудно?
4. Да, очень, не то слово. (Т)
5. Я еще когда работала, (О)
6. построила кооперативную квартиру, (ОС)
7. и сейчас она настолько дорогая, где-то под 60 тысяч в месяц оплачивать ее. (ОС)
8. Это очень тяжело, не знаю, как я дальше буду. (О)
9. Я терять ее не могу, потому что Мите необходима квартира, нужно создать ему условия. (ОС)
10. И не знаю, как я буду ее оплачивать. (О)
11. В общем, пока вот существуем. Что будет дальше — не знаю...(О)
12. Как-то мы с ним стали разговаривать, (Т)
13. что тебе тяжело придется, (ОС)
14. он говорит: а мне не придется тяжело, (КД)
15. потому что ты умрешь, значит и я умру. Твоя смерть — это моя смерть. (КД)
16. То есть, он прекрасно понимает. (О)
17. И потом, говорю, как ты будешь есть? (КД)
18. — "Я пойду к тете Лене, нашей соседке по квартире, чтоб она мне сварила ведро каши" — (КД)
19. Кашу он еще может есть, -(ОС)
20. -" я буду неделю есть кашу; кончится, — я опять к ней постучу". (Р)
21. Так вот и шутка, и слезы... (О)

Схема показывает, что респондент ориентирует слушателя на условия тяжелого материального положения, сопряженного с необходимостью дополнительных расходов, и дает оценку ситуации как основы безрадостного будущего. В то же время, горькая ирония, содержащаяся в том, как разрешается ситуация — по сути, вопрос жизни и смерти, — утверждает повествовательную идентичность респондента, преодолевающую существующий порядок вещей, спорящую с легитимной безысходностью бытия. Амбивалентность финальной оценки жизненной ситуации вписывает рассказанную историю в нецелостный, мучительный онтологический контекст. Отсутствие однозначной моральной оценки жизненного опыта в рассказе респондента пытается слушателя (или читателя), не отпуская, делая его самого объектом пристального внимания нарратива. Нарративы — это не просто набор фактов или объем информации, они структурируют опыт восприятия рассказчика и слушателя, организуют память, сегментируют и целенаправленно выстраивают каждое событие.

Ясно, что многие нарративы невозможно подогнать под эту схему, хотя ее довольно удобно применять в самом начале анализа. Нарративы — не единичные формы дискурса, и кросс-культурные исследования убеждают в вариативности грамматической структуры

историй. И хотя грамматический разбор помогает осуществить пристальный, детальный анализ текста, подходы ученых, работающих вместе над одним его фрагментом, могут существенно отличаться друг от друга.

Драматический метод анализа языка представляет иной структурный подход, который можно применить к разнообразным нарративам. Грамматические ресурсы, применяемые индивидами для того, чтобы рассказывать убедительно, заключаются в пентаде терминов: действие, сцена, агент, обстоятельство, цель. Любое завершённое высказывание о мотивах даёт так или иначе сформулированные ответы на следующие пять вопросов: что было сделано, где и когда, кто это сделал, как он (или она) сделал(а) это и зачем. Применяя этот подход при сравнении нарративов жен и мужей о насилии в семье, шведская исследовательница М.Хиден показывает, что мужчины акцентировали внимание на цели ("почему/зачем он так сделал"), в то время как жены подчеркивали обстоятельства ("как он бил её") и последствия акта, как физические, так и эмоциональные. Она приводит эти языковые различия в рассуждениях о социальном конструировании тендерных отношений в таких браках, где есть насилие.

Еще один подход следует социолингвистической традиции изучения устных жанров и анализирует изменения тона, паузы и другие черты речевой пунктуации, которые позволяют интерпретатору услышать, как группируются предложения.

Анализ текста не может быть просто отделен от транскрипции, или расшифровки. То, как мы организуем и реорганизуем текст интервью в свете наших теоретических изысканий, есть процесс проверки, уточнения и углубления нашего понимания того, что происходит в самом дискурсе. Во избежание тенденции прочтения нарратива только ради его содержания и столь же опасной тенденции прочитать его лишь как доказательство первичной теории К.Рисман рекомендует начать со структуры нарратива.

Как организовано повествование? Почему информант рассказывает свою историю *именно так*, разговаривая с *этим* слушателем? Насколько возможно, следует начинать изнутри, от значений, закодированных в форме разговора и вырывающихся наружу, например, определив подразумеваемые идеи, наделяющие беседу осмысленностью, в том числе и те, что принимаются говорящим и слушателем как самоочевидное. Хотя эта стратегия ставит на первое место опыт рассказчика, понятно, что в процессе анализа избежать интерпретации невозможно. Рассказы людей происходят в момент конкретной интеракции, но кроме нее в интерпретации важно учитывать социальные, культурные, институциональные дискурсы.

Исследователь не может обойти молчанием и вопросы, связанные с властью. Чей голос репрезентируется в окончательном продукте? Насколько текст открыт для прочтения его другими? Где в нарративе отводится место тем, кто собирает и анализирует повествования? Эти интерпретативные проблемы важно затронуть в процессе анализа, обнаружить их для читателя. Прекрасные примеры нарративного анализа властных стратегий и дискурсивных практик на материале литературного текста и "наивного письма" дают недавно опубликованные работы отечественных авторов [24; 25].

Безусловно, ученый выбирает предмет и акценты анализа нарратива под влиянием основного вопроса исследования, в связи с предпочитаемыми теоретическими и эпистемологическими

позициями, даже с фактами личной биографии.

Нарративный анализ не подходит для изучения большого числа безымянных, безликих субъектов. Его методы трудоемки и занимают много времени: они требуют внимания к нюансам речи, организации реакций, местным контекстам и социальным дискурсам, оформляющим сказанное и невысказанное. Нарративные методы можно сочетать с другими формами качественного анализа и даже с количественным анализом. Вместе с тем задача комбинации методов требует серьезного эпистемологического обоснования, поскольку интерпретативная перспектива нарративного анализа сильно отличается от реалистических оснований многих других качественных и количественных методов.

Исследователь, решившись на сочетание подходов, неизбежно приходит к необходимости философской рефлексии способа познания, сталкиваясь со сложными вопросами методологического характера в самом анализе и информируя о них читателя. При этом важно помнить, что наука не может быть выражена одной единственной универсальной теорией. Любая точка зрения частична, неполна и исторически ограничена. Необходима полифония репрезентаций, где нарративный анализ — не панацея, а всего лишь подход, удобный в одних исследовательских ситуациях и неприменимый в других. Сосуществование различных голосов и уровней интерпретации свойственно и самому методу нарративного анализа. Если понимать нарративный анализ как событие, то, перефразируя Бахтина, продуктивность метода будет состоять не в слиянии всех точек зрения воедино, но в "напряжении своей вненаходимости и неслиянности, в использовании ученым привилегии своего единственного места вне других людей" [11, с. 78, 79]. Нарративный анализ — полезное дополнение к классической социальной науке, привносящее критический аромат.

Заключение

Представляется, что пришло время для методологической дискуссии о нарративе. Каков статус данного метода в социально-гуманитарных науках, в чем особенности нарративного дискурса, как связываются в нем индивидуальный жизненный опыт и социальный контекст? Хотя в российской социологии еще немного публикаций, посвященных этому методу, анализ повествовательных конструктов постепенно проникает в социально-гуманитарные дисциплины и профессии, перестает быть провинцией литературной критики. Даже количественные исследователи начинают использовать качественные методы, многие специалисты применяют метод анализа нарративов в области права, медицины, отчасти в социальной работе и образовании.

Нарративы очень важны в исследовании социальной жизни: ведь сама культура говорит в личной истории. Средствами нарративного анализа можно изучать тендерное неравенство, расовую дискриминацию и другие практики власти. Эти проблемы или ситуации рассказчиками часто воспринимаются как должное, естественное, неизбежное. С помощью анализа мы можем прояснить, насколько случайны применяемые термины и выражения для конкретной культурной и исторической ситуации. Рассказчики создают последовательность из беспорядочного, придают реальность тому, чего не было в природе или в прошлом. Именно потому, что нарративы представляют собой сущностные смыслообразующие структуры, они должны сохраняться, а не переламываться

исследователями, теми, кто признает право на конструирование смысла за респондентом и анализирует то, каким образом этот смысл достигается.

Несмотря на кажущуюся универсальность нарративной формы дискурса, бывает чрезвычайно трудно говорить о некоторых событиях и переживаниях. Политические условия, социетальные табу могут не позволить человеку рассказывать о тех или иных ситуациях, случаях. Обычная реакция на страшные происшествия — вычеркивание их из памяти, нежелание знать и говорить о них. Те, кто пережил путчи, войны и сексуальные насилия, молчат, а эти события замалчиваются, поскольку о них трудно как говорить, так и слушать. Иногда жертвы насилия не могут рассказать о том, что они испытали, поскольку другие не воспринимают их в качестве жертв. Однако, когда о таком опыте рассказывают, он становится для пережившего чем-то вроде "пред-нарратива". Пред-нарратив не развивается и не прогрессирует с течением времени, не обнаруживает чувств рассказчика или интерпретаций события. Люди придают смысл своему опыту, отливая его в форму нарратива. Нарративный анализ выступает при этом мощным инструментом коммуникации, активизирующим взаимное участие субъектов и рассмотрение различных точек зрения в процессе исследования важных жизненных проблем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мерло-Понти М. В защиту философии. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1996.
2. Mishler E.G. Research interviewing: Context and narrative. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
3. Toolan M.J. Narrative: A critical linguistic introduction. London: Routledge, 1988.
4. Labov W. Speech actions and reactions in personal narrative // Analyzing discourse: Text and talk / Ed. by D. Tannen Washington, DC: Georgetown University Press, 1987. P. 219-247.
5. Riessman C.K. Narrative analysis: Qualitative research methods series // Sage University Paper. 1993. Vol. 30.
6. Ильин И.П. Нарратология // Современное зарубежное литературоведение. Концепции, школы, термины: Энцикл. справ. М., 1996. С.74-79.
7. Taylor S.J., Bogdan R. Introduction to qualitative research methods: The search for meanings. New-York: John Wiley&Sons, 1984.
8. Голофаст В.Б. Многообразие биографических повествований // Социологический журнал. 1995. № 1. С.71-88.
9. Pollner M, Stein J. Narrative mapping of social worlds: the voice of experience in alcoholics anonymous // Symbolic Interaction. 1996. Vol.19. № 3. P. 203-223.
10. Silverman D. Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. London: Thousand Oaks, 1993.
11. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
12. Kerby A.P. Narrative and the self. Bloomington: Indiana University Press, 1991.
13. Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1997.
14. Personal narratives group: Interpreting women's lives: Feminist theory and personal narratives. Indianapolis: Indiana University Press, 1989.
15. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Республика, 1993.

16. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: Гносис, 1993.
17. Denzin N.K. Interpretive biography: Qualitative research methods series. New-York: Sage University Paper, 1989. Vol.17.
18. Riessman C.K. Divorce talk: Women and men make sense of personal relationships. New Brunswick: Rutgers University Press, 1990.
19. Бургос М. История жизни: Рассказывание и поиск себя // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 2. С. 123-130.
20. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М. Прогресс, 1990.
21. Подорога В.А. Выражение и смысл. М.: Ad Marginem, 1995.
22. Барт Р. Избранные работы: Семиотика, поэтика. М.: Прогресс-Универс, 1994.
23. Ямпольский М. Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис). М.: Новое литературное обозрение, 1996.
24. Козлова Н., Сандомирская И. "Наивное письмо" и производители нормы // Вопросы социологии. 1996. Вып.7. С. 152-186.
25. Шапинская В. Властные стратегии и дискурс любви в романе Гончарова "Обрыв" // Вопросы социологии. 1996. Вып. 7. С.123-151.